



Давид БУРЛЮК

**Три главы из книги
«Маяковский и его современники»**

Осень 1911 года

Воспоминания о Владимире Маяковском должны представлять ценность для читателей в будущем; воспоминания эти будут иметь значение и в большем удалении от наших дней: ибо с годами всегда интерес к значительным явлениям прошлого и шире и глубже...

Предлагаемые очерки написаны тем, кого Владимир В. Маяковский назвал своим «действительным учителем». До сего времени (1932 г.) художественно-литературная критика продолжает усиленно, по-прежнему замалчивать меня, а ведь «случиться» быть учителем великого поэта — «не фунт изюму»...

Значит, было во мне что-то, давшее Владимиру Вл. Маяковскому основание для его значительных упоминаний обо мне в своей автобиографии.

Напрасно мои враги Кушнер (в «Огоньке» 1930 г.) и Полонский («Новый Мир» 1930 г.) пытаются распусть гнусную клевету на наши отношения. Это — ложь. Это неправда. Вл. Вл. был неизменен ко мне до последних дней краткой (обидно) жизни своей.

Черты личности и жизни В. В. Маяковского будут даны в рамках: эпохи, моей личности, моей семьи, всего окружения...

Я постараюсь по годам подобрать все, разрозненные ныне, нити воспоминаний, из коих создается гобелен — Маяковский, теперь уже приобретающий характер великой абстракции, удобной для анализа, для рассечения, ибо он рассматривается на плоскости...

В проекционном черчении известен термин: «изображение с нескольких точек зрения». В этом полном томе о Маяков-

ском собраны и будут далее собираться: все написанное мной о Вл. Вл., воспоминания моих близких о нем, главным образом прекрасные точные редкие строки «о Вл. Вл. Маяковском в быту», составленные Марией Никифоровной Бурлюк.

К ним я добавил очень немного; они живо представляют Владимира Владимировича Маяковского в периоды, когда он был близким ежедневно нашей семье.

Мной особо, отдельно написана глава «Большое всероссийское турне и Вл. Вл. Маяковский в Кафэ поэтов».

«Вл. Вл. Маяковский в Америке», ряд моих фельетонов о нем, напечатанных в 1925 г. в «Русском Голосе», и, наконец, единственный в своем роде материал: «Эхо кончины Вл. Вл. Маяковского в Америке». Мной собраны все отклики американской прессы на трагическую кончину поэта. Я обращаю внимание всех любящих литературу (и «сильных») на необходимость немедленного издания в СССР моей исключительной книги; следует печатать и сохранить всю мою книгу.

Следует еще при жизни моей, наконец, опубликовать хотя бы «избранные» мои сочинения. Я всегда был с революцией и работал для рабочего движения.

Владимир Владимирович Маяковский сам начинает свои воспоминания (1911 год) строками о моем появлении в училище Живописи, Ваяния и Зодчества. Вот как описывает эту осень Мария Ник. Бурлюк.

Мы пишем «в две руки».

<Глава I-я>

БУРЛЮК ЗНАКОМИТСЯ МАЯКОВСКИМ

1911 год, сентябрь месяц: Москва, пыльная и усталая от плоско-жаркого лета встретила меня, по приезде из Ялты, ранними осенними дождями. Я простудилась, настроение было тоскливое. Мне не хватало дружбы и нежной заботливости Бурлюка.

Училась (по роялю) у профессора Сергея Михайловича Ремизова в Филармонии. Много свободного времени оставалось не занятым и часто с приятельницами, отправлялась в Третьяковскую галерею. В то время было принято, что вновь приезжие считали своим долгом посмотреть “Ивана Грозного, убивающего сына”, “Запорожцев” и “Княжну Тараканову”. Также, чтобы заполнить время, начала учиться французскому языку.

Грузины (окраина Москвы). Белый флигель во дворе; комната — окном в сад, опаленный осенними бурями, и черный старый пес, хрипло лающий из синей будки.

Пес на цепи, а дальше деревянной сарай с широкими старинными воротами, всегда запертыми.

Бурлюк величавый, мудрый приехал в половине сентября учиться в школе Живописи, Ваянии и Зодчества, что на Мясницкой улице, против почтамта. Осень незаметно от дождей неожиданных, частых, холодных перемахнула в юный порошащий снег. Чтобы не стынуть под открытым небом, Бурлюка я ожидала с вечернего рисования в подъезде почтамта; там было тепло — за стеклянными дверьми, глотавшими толпы людей, запоздалых отправителей деловых и не деловых посланий.

Бурлюк работал со всей энергией молодости и жаждой неустанной искания нового в искусстве, мало интересуясь, будет ли это понято и приемлемо теми, кто придет потом.

Владимир Владимирович Маяковский, тогда уже звавшийся Бурлюка: «Додичка», в эти вечера часто брел с нами по бульварам через Трубную площадь до Тверской и здесь принимал своими черными строгими глазами к стеклу витрины с телеграммами вечерними, беззвучно кричавшими об осенних распутицах, о заносах снежных, сквозившими сквозь мутное стекло того царского времени худосочными сведениями о загранице.

“Новое Слово” (Сытина): “Сыт — как Сытин”, как сострил тогда вечно-веселый, неунывающий Бурлюк.

Сюда, в Америку, после смерти Вл. Вл. Маяковского, дошли советские газеты, где помещен портрет юного поэта московских бульваров, заснятого фотоаппаратом царских сыщиков; Маяковский тех, уже далеких, лет был очень живописен. Он был одет в бархатную черную куртку, с откладным воротником. Шея была повязана черным фуляровым галстухом; косматился помятый бант; карманы Володи Маяковского были всегда оттопыренными от коробок с папиросами и спичками.

Маяковский был высокого роста со слегка впалой грудью, с длинными руками, оканчивавшимися большими кистями, красными от холода; голова юноши была увенчана густыми темными волосами, стричь которые он начал много позже; с желтыми щеками лицо его отягчено крупным, жадным к поцелуям, варенью и табаку ртом, прикрытым большими губами; нижняя во время разговора кривилась на левую сторону. Это придавало его речи, внешне, характер издевки и наглости. Во рту юноши уже тогда не было «красоты молодости» белых зубов, а при разговоре и улыбке виднелись лишь коричневые

изъеденные остатки кривеньких гвоздеобразных корешков. Губы В. Маяковского всегда были плотно сжаты.

Решимость, настойчивость, нежелание компромисса, соглашательства. Часто в уголках рта вздувались белые пузырьки слюны. В те годы крайней бедности поэта — в уголках губ делались заеды.

Это был юноша восемнадцати лет, с линией лба упрямого, идущего напролом навыков столетий. Необычайное в нем поражаало сразу; необыкновенная жизнерадостность и вместе, рядом — в Маяковском было великое презрение к мещанству; палющее остроумие; находясь с ним — казалось, что вот вступил на палубу корабля и плывешь к берегам неведомого.

Прогулки наши в сверкающих фонарях азиатских бульваров Москвы, то затененных линиями дождя, то пушистыми ресницами снега, были долгими.

Маяковский вслушивался в веселые восклицания и разговоры об искусстве, коими изобилывал Бурлюк.

Маяковский первые месяцы никогда не возражал: из-под надвинутой до самых демонических бровей шляпы его глаза пытливо вонзались во встречных, и их недовольство ответное интересовало юношу. — Что смотрят наглые, бульварно-ночные глаза молодого апаша!.. А Маяковский оглядывался на пропадавшие в ночь фигуры».

Трудно сказать, любили ли люди (людишки никогда) Владимира Маяковского... Вообще любили его только те, кто знали, понимали, разгадывали, охватывали его громаднейшую, выпирающую из берегов, личность. А на это были способны очень немногие: Маяковский «запросто» не давался.

Маяковский-юноша любил людей больше, чем они его.

Маяковский был способен по-своему даже жалеть людей.

Осенью 1911 года, до моего отъезда через Киев, где ко мне присоединился Бенедикт К. Лившиц, в Херсон и затем далее в Гилею (Чернянка, Таврической губ.), я успел узнать Володю Маяковского и глубоко полюбил его. В нем привлекала меня любовь к стихам; он запоминал махом единым все, что поражаало его. Помнил не только стихи В. В. Гофмана, А. Черного, Ал. Блока, В. Брюсова и классиков, но знал большие отрывки прозы, в том числе мог читать целые страницы из «Капитала» Маркса наизусть.

Память его была разительной, теперь я изумляюсь ей. Часто на литературных вечерах какой-либо автор забудет на эстраде свои стихи, а Маяковский, болтающийся среди публики, рявкнувшей строчкой подсуфлирует, поддержит, подопрет бревном

падающую стенку памяти. Маяковский никогда не любил о себе рассказывать; не в моем характере — (теоретическом), особо тогда, было расспрашивать; поэтому все о Маяковском того времени надо выбирать из грунта памятования по кусочкам и, как археолог, горшок из черной, киммерийской необожженной глины, склеивать так, чтобы получилось целое, контур внятный. Я знал, что у Маяковского имеются мать (вдова) и две сестры. О смерти отца, за пять лет до нашей встречи, Вл. Вл. Маяковский ничего, почитай, не говорил. Вскользь рассказывал Володя о своей «дружбе» с В. В. Гофманом. Я побывал сам дважды на верхних этажах «Петергофа»; Виктор Викторович совсем не был способен, как мне казалось на первых порах, осуществлять то, что позже я узнал о нем.

Потом, в 1909 году, будучи в Питере, я привел В. В. Гофмана к Розалии Абрамовне Зильберман из Екатеринослава, очень славненькой девушке, но В. В. Гофман в тот вечер был «разочарован», близорук и скучал; он не мог вспомнить ни одного из своих стихотворений. Ему еле удалось восстановить одно из них, записать на бумажку и лишь после этого он продекламировал его.

Впечатления от первых встреч с Володей Маяковским — были: его бравада полон, своей силой, победами над женщинами. В ранней юности В. В. был мало разборчив касательно предметов для удовлетворения своих страстей.

Меня Вл. Вл. Маяковский считал «старшим». Первые месяцы знакомства он бравировал перед мной своим уклоном в разврат. В нем кипели молодые «непочатые» невычерпанные силы. Этот период у А. С. Пушкина был отмечен опасным «кружком зеленой лампы». Но Маяковский — бедствовал. У юноши были враги: голод, холод, людское равнодушие. Высокая стена, которую надо было пробить лбом, отделяла его от успеха в жизни. Ему приходилось перебиваться любовью мещанок, на дачах изменявших своим мужьям — в гамаках, на скамейках качелей или же ранней невзнузданной девической страстью курсисточек...

Любовных историй Вл. Маяковского я коснусь еще позже, по мере течения изложения — но характерно, для понимания творчества поэта, что женщины, «облеченные в имя», встречаются в поэзии Вл. Маяковского много позже уже лишь после 1913 г. Первая «Мария» в Одессе.

Надо указать, что Вл. Вл. Маяковский в своей поэзии ничего не выдумывал. Его стихи — лог его жизни. Судовой журнал. События, факты, однако, записаны нестираемыми знаками. От-

шлифовано. Найдена окончательная форма выражения. Не переделывать, не забыть, не отбросить. Все в его стихах списано с натуры, и я постараюсь дать примечания к тем стихам, которые сочинены были поэтом во время нашей совместной прошлости. Маяковский мне говорил: «высшее счастье, в чистом белье — ждать прихода женщины, самки».

Следите первые стихи: «Ночь», «Уличное», «Вывескам», «Театры», «А вы могли бы». Эти стихи составлены Маяковским в 1911—12 году. «Я чувствуя платья зовущие лапы», «Автомобиль подкрасил губы у блеклой женщины Карьера». Первые свои стихи Вл. Маяковский составлял исключительно для декламации, для чтения с эстрады, для рева в курилке в училище Ж. В. и З. В. В этих немногочисленных стихах (чеканных и острых) женщины изображены декоративно. Вл. Маяковский стеснялся быть «бесстыдным» перед незнакомыми ему людьми на эстраде. Его интересовали городские натюрморты. Железные вывески с «копчеными сигами», «трубы», по которым водопадами струится сырость. Весь первый период стихотворчества прошел на бульварах, на улицах. У поэта не было бумаги, не было чернил. У него была безмерная память, и сквозь дым папирос вырывались первые огненные языки, куски его будущих, скорых потрясающих поэм. Черные штаны на Маяковском в ту пору были коротки, узки и обтрепаны бахромой внизу. За всю свою жизнь (только когда в Америку уже в 1925 г. приехал) он никогда не сожалел о незнании языков и не высказывал желания изучить их.

Бурлюк собрался ехать читать лекцию в Петербург на тему «Что такое Кубизм» и, узнав, что Маяковский там никогда не был, решил взять его. Маяковский был очень рад этой поездке. По прибытии в Петербург, с вокзала, кутаясь в живописный старый плед (похож так на молодого цыгана), Маяковский поехал проведать своих знакомых. Бурлюк встретился с ним уже только вечером в Тенишевском училище. Маяковский познакомился здесь Велимиром Хлебниковым, учившимся в тот год в Санкт-Петербургском университете.

Здесь, пожалуй, будет уместно сказать несколько слов об отношении Вл. Маяковского к Велимиру Хлебникову. В автобиографии Вл. Маяковского о Хлебникове он пишет: «В Москве Хлебников. Его тихая гениальность была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом». Вл. Маяковский никогда особенно не любил и не понимал Хлебникова как поэта. К Хлебникову-человеку он относился с большой теплотой, всегда называя его нежнейшими именами. Меня часто потом спрашивал:

«Ведь мои стихи, правда, лучше Витиных, жизненнее?..» На лекциях пользовался некоторыми стихами Вел. Хлебникова как полемическим оружием, в защиту новой формы. Одно, два не больше. Чтобы ошарашить поклонников чеканки дворянски-пушкинских строф или же, до слез, понятно выраженной тоски Блока, Ахматовой и других кумиров мещан эстетических от патетически-лирически вымиравшего крепостнического дворянства.

Ал. Блока мне пришлось выбивать из В. Маяковского дубиной. Я демонстрировал ежечасно религиозную, реакционную идеологию певца буржуазных настроений, последнего лауреата русской поэзии стиля ампир.

На «каникулы» (1911 г.) рождественские я съездил с Лившицем в Маячку. В Николаеве, на вокзале, Бенедикт Константинович Лившиц написал свое стихотворение «Вокзал». (См. книгу «Гилея» издание М. Н. Бурлюк.) Ровно через год со мной ехал опять в ту же Маячку Владимир Владимирович Маяковский, он у памятника Мартоса Говарду над рекой Бугом написал свое стихотворение «Порт». Когда Маяковский шептал на фоне тусклого неба южной, скупой на снег, зимы в Николаеве, у черной бронзы екатерининского вельможи, только что выплавлявшийся «Порт», он уже знал прекрасно стихи Бенедикта об окне, фонаре и тенях от веток акации, проектированных на стекло; стихи, посвященные ночи и ожиданию поезда на Херсон...

Весна 1912 г.

Вернувшись из поездки в южные степи в коридоры училища Ж. В. и З. с мокрыми полами в классах, со сторожами, кричавшими: «Доде Давыдовичу дюшистого» (мыла, мыть руки после живописи), с бело-розовыми русскими нагими женщинами, стынувшими на фоне куполов морозных в море густого тумана, прокрапленного снегом, повисшего над столицей купечества российского, я узнал о выступлениях Вл. Вл. Маяковского на ученическом вечере. В училище у Вл. Вл. Маяковского сразу появилась масса поклонников, считавших его «своим поэтом»; слава всегда приходила к нему сразу. Первым стихотворением, читанным им с эстрады, было: «А вы могли бы».

Маруся вспоминает:

«С Маяковским мы ходили весной 1912 года в консерваторию слушать концерт Собинова, который пел ученикам романсы Чайковского, ньюансируя их по всем правилам высшей школы

классического искусства. В антрактах костлявая, худая фигура Маяковского, слегка сутулившего плечи, спешила в курительную комнату. Здание консерватории тогда помещалось на Большой Никитской. Музыка Маяковский любил. В те годы на углу Никитской и переулка, что вел в Филармонию, стоял театр. Там в постановке Н. Н. Евреинова давался в ту весну: “Овечий Источник” (Овенто-Овехуна), Лопе де Вега, где люди говорили по-русски, стараясь передать вполне стиль ушедших, затерявшихся племен. На сцене были декорации: хижины, заборы, выплетенные из ивняка. В ложе, во второй от сцены сидел рядом с Бурлюком молчаливый, умный и добрый юноша Володя Маяковский; он не аплодировал «моральному успеху» искусства Евреинова. Театр почти пуст; зрителей было — один, два и обчелся; желтые драпировки зала в притушенном свете припудренно, уныло поблескивали. Материальный неуспех затеи Н. Н. Евреинова не беспокоил Маяковского, ему было важно, что он видел это новое, блестящее, врывающееся искусство новатора, а до других ему не было дела. Той же зимой в Художественном театре давался “Гамлет”. Ставился по Крегу. С очень худенькой и прозрачной Офелией, певшей тонким голосом; актриса обрывала лепестки живых цветов. В Художественном держались реализма. Зимой в Москве цветы стоили денег, и публика замечала, что цветы не бутафорские. Пьесы Кнута Гамсуна, которые давались в том же театре, трогали Маяковского своими мужскими характерами с их покорностью пред неумолимым, неизбежным. Драма понималась в тонах отзвуков древней Эллады, ее традиций.

Бурлюк в феврале 1912 года выступал в Политехническом музее, что вблизи Лубянской площади. Как-то на доклад он и Маяковский ехали трамваем; вагон светящейся точкой вынырнул из зимней мглы дореволюционной ночи и скрипел по морозным рельсам на всех поворотах и подъемах: окна вагона плотным окутаны инеем, замерзшим дыханием пассажиров. В пути Маяковский несколько раз уступал свое место входящим дамам».

Здесь уместно будет дополнить, что, приехав в 1925 году в Соед. Штаты и несколько раз прокатившись по нью-йоркским подземкам (собвеям), Вл. Вл. Маяковский возмущался, что американцы не уступают места входящим пассажиркам. «Рассядутся джентельмены и сидят...» В Нью-Йорке место уступят старухе, «отцу семейства», нагруженному плодом любви супружеской, или же мамочке, подолом которой руководятся юные отпрыски грядущих дней, но сердце американского дельца —

хладнокровно пред красавицей, виснувшей на ремне колышающегося вагона.

— «Равноправие — пусть повисят...»

— «Стоять полезно», — думают другие.

Маяковский весной 12 года еще не выступал с чтением своих стихов с эстрады перед широкой публикой. (Выступления в учил. Ж. В. и З. не в счет.) Растущий трибун, он слушал, изучал многоголовую и такую разную по своим вкусам толпу.

Сюда в С. Шт. после смерти Вл. Вл. Маяковского получилось много журналов со всевозможным материалом, относящимся к жизни поэта и до времени, когда я был наблюдателем дней физического, творческого существования Володи. Теперь осталась только одна великая абстракция. Действительная, могучая, влияющая... Предмет изучения — важный для понимания и оценки первых дней революции, фундаментов современности и грядущности.

Среди снимков, в номере 7 (5 мая 1930 г.) «Стройка» помещен снимок с полицейской «анкеты» молодого Маяковского, относящийся к 1910 году. Эти фотоснимки и 21 пункт всевозможных примет описания В. Маяковского составлены были в результате зоркого, опытного полицейского «художественного исследования». Это описание составлено, видимо, во второй арест Маяковского, т. е. приблизительно в 1910 году, всего за год до времени, когда возникла наша прекрасная незабываемая дружба: первый год которой теперь, через 19 лет, мы — я и Мария Никифоровна пытаемся восстановить.

Маяковский, полицейскому взору казался на вид — 17—19 лет, но он, действительно, выглядел старше своих лет. Полнота — средняя: полицейский переоценивал: Вл. Вл. был худым; волосы — «русые»: на меня Вл. Вл. Маяковский всегда производил впечатление «брюнета». Полиции, видимо, «русым» юноша показался с пьяных глаз. Лицо — «желтое». Правильно, от курева и недоедания — оно не было здоровым. Выражение — «серьезное». Надо добавить, что часто бывало демоническим, с его горящими, непокорными глазами. Лоб — «средний», «наклонный назад» — на меня лоб юноши Вл. Маяковского производил в те годы даже впечатление низкого, но прекрасно сформированного. Нос — «средний». С годами конец носа Вл. Вл. Маяковского стал разрастаться, увеличиваться. Под номер 9 — отмечена «оттопыренность ушей большая»; «плечи — узкие»; шея — «длинная, тонкая»; привычка держать себя — «свободная», походка — «ровная, большой шаг».

Маяковский и сам, со стороны, видел свою эту походку, так точно филером, бульварившим за поэтом в дни царизма, полицейски точно («служба не дружба»), гороховым пальто занесенную на «охранную карточку». Свою «Флейту позвоночника» — позже поэт начинает словами:

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая...

Ходьба в стихах до 1918 года, которые я очень хорошо каждую строчку знаю, как, когда и при каких обстоятельствах она составлялась, — часто поэтически изображается.

Стихи «России» начинаются:

Вот иду я, заморский страус...

«Никчемное самоутешение» оканчивается:

Я, медлительный и вдумчивый пешеход.

«Облако в Штанах» имеет в конце строки:

Небо... Снимите шляпу...
Я иду...

В «Трагедии Вл. Маяковский» во II-м действии:

Вот и сегодня выйду сквозь город...

Там же в I-м действии:

Я прихрамывая душонкой уйду к своему трону...

Пусть не будут оскорблением светлой памяти покойного, что нами здесь была сделана попытка восстановить внешность поэта, пользуясь «казенным описанием», с карточки подлого охранного отделения. На этой карточке Вл. Маяковский описан с точки зрения чужих глаз: как он казался тому, кто не знал и вовсе не интересовался его внутренним содержанием. Но даже в этом прозаическом «описании» уже отчетливо чувствуется необычайность юноши поэта, великого предвестника революции, опиравшего ее Пафос за несколько лет заранее.

Напечатать материал нам о В. Маяковском «полностью» из-за недостатка средств не представляется возможным, но мной в разных журналах было писано много о Маяковском. Когда у меня найдется издатель (верю), я дам примечания к первому творчеству В. В. Маяковского полностью. В Маяковском-юноше особая мужественная серьезность разила глаз с первого разу. Бархат вечера; серьезность осенних туч.

У Вл. Маяковского среди дореволюционных, грандиозных стихов есть «Несколько слов о себе самом». Оно начинается:

Я люблю смотреть, как умирают дети...

А я в читальне улиц — так часто
перелистывал гроба том...

Полночь промокшими пальцами щупала
Меня и забитый забор...

В конце этого стихотворения, в двух строках, описан и я: мой физический недостаток — одноглазие. Он у Маяковского, искренне меня любившего до самых последних минут своей короткой жизни, нашёл отзвук в его стихах; лично никогда не говорил, жалея меня. Вл. Вл. Маяковский писал «с природы». В его произведениях «описано», изображено все, что интересовало его. Точно, метко.

В Трагедии «Владимир Маяковский» — выступает «человек без глаза и ноги»...

Володя Маяковский в 1911—12 годах жил бедняком. На черных щиблетах нет калош, и его сырые ноги прозябли, голос его глух с вечным кашлем простуды, прочно устроившейся в груди рослого юноши. Из-под фетра шляпы черно брильянтят ночные трагические таинственные глаза. Кончался первый год знакомства с Владимиром Владимировичем Маяковским.

Давид Бурлюк в июне 1912 года уехал в Германию, в Киссинген, где видел профессора Клемперера, который больному Давиду Феодоровичу (отец Бурлюка Давида) назначил пить воды и диетический стол. Бурлюк пешком в то лето путешествовал по Италии и написал «Итальянский дневник», впечатления от всего виденного, но книга не была расшифрована, потому что в ней были только часто одни начальные буквы слов или куски фраз. Рукопись осталась в архивах под Москвой. Об этой книге Велимир Хлебников, которому были читаны отдельные места, говорил: «Это освежает, как прозрачная, ключевая вода...»

Глава II-я

Февраль 1912 года

МОЛОДЫЕ ХОДЯТ СТАЯМИ

Эти воспоминания Маруси очень ценны:

Родители Бурлюка, Людмила Иосифовна и Давид Федорович, остановились по дороге в Петербург в Москве, в Большой Московской; номерок под крышей выходил окнами на площадь, за-

валенную рыхлым, грязно-талым снегом, изрытым, исполосованным полозьями извозчичьих саней. Подмосковные крестьяне с задами, толсто окутанными ватой, со спины казались гигантами, а взглянешь на румяные морозные щеки, в глаза его синие, и гигант окажется худым схимником. Матушке в ломбарде, что на Большой Дмитровке был наискосок дома «благородного собрания», нынешнего Дома Советов, купили добротного старинного бархату шубу, на красном лисьем меху с воротником, с пелериной, зашитой блестящим стеклярусом. Шуба была длинной, до полу и не имела рукавов; Людмила Иосифовна придерживала ее изнутри, чтобы шуба птицей не раскрывалась на московском резком бульварном ветре. На голове дамы, сохранившей красоту и в старости, шляпка, отороченная мехом, но определить имя ему было невозможно: мех был короткий, жесткий и над ушами отгибался вниз клинцами, как на картинках, представляющих женщин Голландии. Мы взяли с ней извозчика в Большой театр: «Лоэнгрин» с Собиновым. Места — в партере; матушка слушала оперу, а лицо печально-строгое... Надя — тиха и задумчива, Яна — бела и кругла, а ты, — и красивая голова матушки повернулась в мою сторону, — «изящна»...

Людмила Иосифовна ехала в Петербург проведать второго внука Кирика, родившегося у ее старшей дочери, Людмилы, бывшей замужем за скульптуром Василием Васильевичем Кузнецовым.

— Ты бы осталась здесь с нами, пожила бы в Москве, отец один проведает.

— Это — моя «детина», и ты не можешь пока понять меня, — возразила она мягко на слова Бурлюка.

Давид Федорович, читая газету (длинные фельетоны) о выступлении Давида Бурлюка в Политехническом музее, вдруг нахмурил брови:

— Додя — на тебе сорок рублей и купи черный сюртук; нехорошо, когда корят одежей.

«А в Политехническом музее бежал серый красавец Бурлюк», как острил какой-то буржуазный фельетонный строчило. Как раз в этот февральский день лекции Бурлюка в «Политехническом» (на Лубянке) состоялись и бега, на которых выигрыш остался за знаменитым орловским рысаком, что и дало повод хлесткому русскословцу сравнить модного лектора Бурлюка с рысаком: на Бурлюке в тот вечер был темно-серого цвета костюм, а Крепыш тоже был серого цвета. Фельетонное сравнение задело Бурлюка-отца, и лектор Бурлюк-младший обзавелся

сюртуком, однако, ставшим скоро вновь новой мишенью для до-сужих щелкоперов.

Время, когда приехали родители Бурлюка в Москву, было сезоном съезда помещиков в белокаменную. Москва гремела ба-лами, собраниями, концертами. Этим объясняется номерок под крышей в Большой Московской гостинице, где остановились родители Бурлюка. Все было занято, номеров не было... Брало то, что осталось... Бурлюки всегда останавливались напротив Иверской, в которую упиралась Тверская. После полудня, пыля снегом, бьющиеся в зеленых сетках рысаки уносили на скачки игроков в шубах бобровых. Звон колокольный мешался в возду-хе со стаями сизых голубей, кружившихся пепельно, ныряя над табунами, скопищами присадистых каменных, дорефор-менных домов Москвы, видевшей, тогда сто лет всего назад, гу-сар Наполеона и клубы дымовые партизанских пожаров Дениса Давыдова. Откуда-то пробивались лучи последнего света скоро мелькнувшего зимнего дня. В нем еще не было весенних привет-ов. Стояла зима, купеческая, любящая наживу, а затем вдруг срывающаяся на необозримый кутеж, игру «ва-банк», пир на-пропалую... На бегах проигрывалась золотая молодежь Москвы. Бега были модным гвоздем сезона.

Одно появление Бурлюка на эстраде, в зале встречалось дви-жением, восторгом и хлопками. Давид Бурлюк был вожаком. Объединителем. Он умел владеть толпой. На его вечерах нико-гда не было ни одного скандала. Вл. Вл. Маяковский был нераз-лучен со своим старшим другом. Он ходил рядом, учился, наби-рался смелости и опыта, опыта говорить новым языком, о новом. Опыта мыслить смело и оригинально. Не бояться бить по при-знанному, захваленному. В этот приезд родителей Давида Дави-довича Бурлюка Вл. Вл. Маяковский пришел в Большую Мос-ковскую и познакомился с ними. Так что на следующий год в Чернянку, на юг, в дом Бурлюков, он приехал уже «своим че-ловеком». Знакомство это потом вылилось в тесную дружбу Во-лоди не только с самим Давидом Давидовичем, но и в друже-ственность со всей большой семьей Бурлюков, где, кроме родителей, было трое братьев и трое сестер. Семья была арти-стическая: все читали, писали, рисовали, пели, музицировали. Ранней весной 1912 года от разрыва сердца скончался Валентин Александрович Серов. Я, в час дня, в день его смерти как раз, пошла на урок пения, в Хлебный переулок, дом 6. Мой профес-сор Н. Н. Александров-Кочетов на мой звонок лично открыл мне дверь и заговорил торопливо:

— Вот дело-то какое — Серов умер... А ведь только еще вчера у И. И. Трояновского играли в карты: Валентин Александрович за игрой еще, накануне жаловался на сердце...

— Ничего, — успокоил тогда его Иван Иванович, — мы вас на лето в Баден-Баден отправим, и как рукой снимет вашу хворь. Богатырем вернетесь.

Покойный Серов никогда прежде не жаловался на это недомогание. Семья знаменитого художника осталась без всяких средств. Даже трудно поверить, как мало, оказывается, этому мастеру платили за его гремевшие на весь мир портреты... Те, что в России тех времен имели денежек полные карманы, имели поместья и усадьбы, где и пруды, и сады, и овины, и молотилки... И мельницы и пенье соловьев (бесплатное) ночами ароматными, и труд крестьян полукабальных то же, почти, даровой — кто имел доходы ежегодные и мог искусством забавляться.

В училище Ж. В. и З. мне пришлось учиться с блондинкой фон Дервиз. Она рассказывала: «В. А. Серов летом у нас в имении гостил. Как-то вечером взрослые стали играть в лапту. В. А. Серов хорошо играл. Но на этот раз, в темноте уже, он поскользнулся, упал и сломал себе два ребра». Я всегда вспоминала, в связи со смертью учителя, этот случай.

Мария Никифоровна вспоминает здесь смерть Валентина Александровича Серова, пришедшую в том, 1912 году, так неожиданно, так внезапно.

В лице В. А. Серова умер первоклассный мастер, пользовавшийся мировой популярностью.

Проживи В. А. Серов десять лишних лет — было бы кому написать реальный схожий портрет Владимира Ильича Ленина.

Серову бы В. И. Ленин, несомненно, позировал бы. К сожалению, Н. Альтман, И. И. Бродский и другие сделали ряд рисунков, набросков, может быть, и схожих и прекрасных, но некому оказалось приготовить для будущих поколений «фундаментальный портрет», исполненный «с натуры». В. А. Серову, не умри он так беспощадно рано, эта колоссальная задача, несомненно, была бы по плечу. Я думаю, что читатель простит меня здесь, если я опишу все, что о В. А. Серове сохранила мне моя память. В. А. Серов для нас, для молодежи начала 20-го века, был кумиром, пока не отравила нас «бацилла нового искусства». В. А. Серов учил нас живописи в Третьяковке, начиная с 1898 года. Перед его портретами мы застаивались, мы их нюхали. Впервые рассказывала о личном знакомстве с В. А. Серовым в 1902—7 мне сестра Людмила Давидовна Бурлюк. До выхода ее в 1907 году замуж за скульптора Василия Васильевича Куз-

нецова она училась в С. П. Б. Академии художеств. Будучи исключительно одаренной ученицей, она обратила на себя внимание профессоров, и Матэ познакомил ее с В. А. Серовым, который и приглашал мою сестру рисовать с ним женскую модель, «чтобы скучно не было». В. А. Серов всегда рисовал в недели своего пребывания в Питере; рисование происходило в личной мастерской В. В. Матэ, в корпусах Академии художеств, что на Вас. о<стро>ве. Из рассказов Людмилы Бурлюк о В. А. Серове я помню (время, видимо, 1904—6 г.). Сестра успела уже побывать тогда проездами через Москву в галереях С. И. Щукина и А. Морозова, где и напиталась «бациллой» новой живописи. Ее рисунки выдавали этот модернизм. В. А. Серов спрашивал во время пауз, пока отдыхала модель:

— Ну, как вам нравится мой рисунок?...

Заметив, что сестра молчит, В. А. Серов сказал:

— Кажется сладким, слащавым? — Здесь он помолчал, а потом добавил: — Но есть сладость... Божественная сладость.

Это время В. А. Серов увлекался «певучей линией».

Сестра рассказывала, что В. А. Серов мало рисовал, но чрезвычайно упорно поправлял модель; пока не было полного сходства с его рисунком и первоначальным положением модели, В. А. Серов не начинал рисовать.

Лично я познакомился с В. А. Серовым позже, в 1907—8 году, в Обществе Свободной Эстетики. Председателем ее в те времена был Викентий Викентьевич Пашуканис. Тогда было в моде к фамилиям сочинять стихи после знаменитого:

Седеет к октябрю сова
Узнал я когти Брюсова.

Стихи к фамилии Пашуканис звучали:

Пашуканис
Были в бане-с...

Рекомендуясь, Викентий Викентьевич всегда декламировал эти стихи, которые он, верно, сам и сочинил. Викентий Викентьевич поражал всех, кто с ним знакомился, «феноменальной» памятью. Не знаю, как теперь, через много лет, но до революции в России все называли друг друга по именам и отчествам. Так что нужно было знать, после первого знакомства (!), не только фамилию, но и имя и отчество. Подчас чрезвычайно замысловатое по своим комбинациям. Причем многие обижались, если при вторичной встрече новый знакомый не помнил их точной комбинации. Викентий Викентьевич встречал сотни людей

и уже на второй раз, когда вы входили в ярко освещенный зал «эстетики», над вами учтиво наклонялась его высокая фигура, и он без запинки всех входящих величал по имени и отчеству. Но как-то он добродушно выдал мне свой секрет: в кармане его сюртука была пристроена особым образом записная книжка и, при виде входящего гостя, с большой ловкостью председатель открывал алфавит и извлекал необходимое.

На одном из заседаний оказались рядом сидящими: Давид Давидович Бурлюк, Викентий Викентьевич Пашуканис, Виктор Викторович Гофман, Александра Александровна Экстер, Василий Васильевич Переплетчиков, Иван Иванович Трояновский, Петр Петрович Кончаловский, Василий Васильевич Каменский и Николай Николаевич Евреинов. Общество Свободной Эстетики было «святая святых» внутри Лит. Худ. Москов. Кружка.

О Литер. Худ. кружке на Больш. Дмитровке, в свое время позже, в течении нашего рассказа, потока воспоминаний, я поговорю подробно, когда буду описывать выступления в этом кружке Владимира Владимировича Маяковского. В Обществе Свободной Эстетики собирались знаменитости тогдашнего искусства, литературы, музыки. Неизменно высился рассказчик и весельчак В. В. Переплетчиков (напоминавший охотника, вернувшегося из длительного пребывания в болоте), одежда на нем рыболовным халатом сидела.

Вечер обычно открывался каким-либо докладом по литературе, декламацией новых стихов. Здесь бывали старшие символисты: К. Бальмонт, В. Брюсов, В. Иванов, А. Белый. Младшее поколение этой школы: поэты из «Весов» Эллис («прославившийся» позже «кражей» страниц книг из Румянцевской библиотеки), В. В. Гофман, Рубанович; читал здесь свои стихи даже как-то и художник П. С. Уткин. Все это сдобривалось пропорционально половой «политикой» шикарно разодетых благоухающих дам. Здесь царили, блистали: Гиршман, Носова (нап<исана> К. Сомовым), Коровина, Гельцер... После «официальной» части вечера начиналась беседа, знакомства. Молодых, пробившихся сюда, знакомили «со старшими». Таким образом и я был представлен В. А. Серову. В. А. Серов тогда был молод, здоров, добродушной обросший бородой. Роста был низкого: с брюшком. Волосы золотистые, глаза — сине-серые, зоркие. Вид такой, как будто не смотрит на вас, а набросок делает; В. А. Серов был прекрасным карикатуристом, о чем можно судить по его наброскам (карандаш) на Николая II, являющимся «самым разительно схожим» с царем-последышем. На портрете

брюнетки Гиршман В. А. Серов нарисовал себя отраженным у краюшка, в зеркале; там Серов — как есть, как был. Выражение такое, что думает о вас остроумное, себе на уме, а не говорит: лишь под усами (немецкими) улыбка. В монографии В. А. Серова известны скорые наброски — с «мецената» Гиршмана, Станиславского и т. д. Эти наброски, как я помню по рассказам, были сделаны им в О-ве Свободной Эстетики, чтобы показать, «что он быстро может за 20 минут сходство передать». Серов этими набросками отвечал на обвинения в той исключительной медленности, с какой он, обычно, писал свои «серьезные» портреты.

С В. Серовым я встретился потом второй раз в 1909 году на выставке («Салон», в Пассаже устроенный мной совместно с Николаем Ивановичем Кульбиным), см. мои Фрагменты воспоминаний футуриста*.

Из рассказов о В. А. Серове здесь уместно привести воспоминание о нем художника Николая Ивановича Васильева. Приблизительно за два года до своей смерти В. А. Серов вздумал как-то в мастерской рисовать модель бок о бок с учащимися своего класса Моск. Учил. Жив. В. З. Среди учеников В. Серова тогда выделялся двадцатилетний парень Голдин. Когда Серов принес свои принадлежности в мастерскую, то Голдин сказал:

— Вот смотрите, ребята, я лучше Серова эту натурщицу рисую.

Поza и модель выпали действительно трудными. Серов, как всегда, рисовал долго и упорно, ученики тоже старались из всех сил. Наконец, когда срок установки модели, а Серов всегда любил ставить на очень долгое время, пришел к концу, Серов скромно заявил:

— А модель трудная! Даже у меня неважно вышло...

Затем он пересмотрел еще раз работы учеников и рассыпался в похвалах рисунку Голдина. За этот рисунок Голдин на экзамене получил звание художника и был выпущен из училища. Впрочем, позже никуда особенно этот выдающийся талант не пошел; Сытин пригласил его в качестве иллюстратора на хорошее жалованье (триста рублей в месяц). Голдин пошел туда, начал пить и скоро потонул в той безвестности, из которой он при-

* Мной составлена книга и проф. Островским приготовлена для печати. Ее необходимо издать, там есть много важного о Горьком, В. В. Маяковском, И. Е. Репине, В. В. Хлебникове и других. Рукопись находится в СССР. Я с нею бился два года — несколько раз ее принимали в печать, в издательства, и потом она вытеснялась. Нужна «рука» — дружеская.

шел, сохранившись, единственно, легендой в памяти его бывших соучеников.

Смерть В. А. Серова была внезапной. От барышни фон Дервиз (блондинки), работавшей со мной в Училище Живоп. Ваян. и Зод., я знал, что как-то года 2 назад до смерти В. А. Серов в сумерках у них на дворе в имении вздумал в лапту играть, побежал, поскользнулся и сломал себе ребро. «Игры взрослых» в сумерках опасны. Те, что «играют всегда», имеют право на игру: но взрослые, не игравшие уже десятки лет, должны опасаться этих рецидивов детства.

Мне известен случай, когда у моих родителей в Курской губ. в 90-х годах прошлого века, точно также вечером, взрослые стали «играть». Приехавший к нам в гости молодой (года 32) учитель из соседнего села Белой был в числе заигравших. «Игра» состояла в том, что взрослые мужчины, серьезные, солидные стали показывать уменье свое по деревьям лазить. Мой отец, ему было тогда около 30 лет, был в числе игравших. Учитель (поляк) влез на дерево быстрее всех. Сквозь листву, где виднелся «победитель», глянули звезды. Рискованно прыгнул победитель вниз, с большой высоты. Его длинные руки были как крылья, когда он летел в своем прыжке к мягкому зеленому упругому дерну внизу. Ног он себе не сломал, но ему сразу стало нехорошо. Скоро все разъехались. Учитель со своей молоденькой женой, перед которой он, верно, и форсил, уехали первыми. Через две недели он умер от скоротечной чахотки.

Когда фон Дервиз рассказала мне случай с В. А. Серовым, происшедший у них в имении, я всегда вспоминал параллельно деталь эту из ретроспективы памяти о детстве моем и случаев, связанных с тем временем.

В училище Ж. В. и З. смерть Серова вызвала среди учеников большой отзвук. Был выбран на сходке в круглом зале комитет, и в него вошли от каждого класса по одному ученику. Из фигурного попал В. В. Маяковский; из натурального — я.

Мы должны были озаботиться: венком, подписью, а также представительством от училища как на панихидах и в самой похоронной процессии, так и на далекое кладбище за город.

Панихида в доме покойного осталась в памяти. Белый дом в два этажа, невдалеке от Румянцевского музея (теперь библиотека Ленина). Верхний этаж; 9 комнат занимал В. А. Серов. Далее передней я не пошел. В зале с лакированными полами сквозь пальмы и занавески — тюль гроба... В передней пришедшие проститься. Личико Гиршман в трауре, заплаканное. В. А. Серова она полюбила за его прекрасные с нее портреты. На другой

день утром тронулась по улицам похоронная процессия. Процессия похорон — многолюдна, полна движения в бойких районах города.

Здесь трудно рассмотреть, разобрать своих и чужих: в безволии своем многие из толп встречных на время устремляются в общем потоке, чтобы потом застрять где-либо в переулке или же отстать на пересекающем бульваре. На этих похоронах мне как-то особенно врезалось в память лицо милой девушки Ланге. Ее брат, как потом, много позже, я узнал, был автором «Лествицы». Он был ранним другом Брюсова: носил алую рубашку. Умер от чахотки, не дожив до славы символистов своих соратников. Ланге вышла замуж за прис<яжного> поверенного Попова. Ее юность, мелькавшая то здесь, то там в похоронной толпе, черным потоком наполнявшей вдруг узкие улицы Замоскворечья, разделявшейся на отдельные ручейки по соседним переулкам — отгоняла стаи мрачных мыслей: о тщете славы, о ненужности искусства, жизни человеческой, которые могли бы иначе тяжело овладеть всем существом моим в этих невеселых обстоятельствах. Сквозь заиндевелую слюду воздуха девичьи щеки просвечивали, как лепестки роз, а глаза синели лазурью над простором морским. Молодая женщина и смерть. Зима и весна, которой грозят неудачи и беды.

Похороны В. А. Серова — единственная процессия, которую я вышагал от начала до конца. День был холодный, морозный. Временами начиналась метель. Затем туманило (см. мой «Рождественский рассказ»). Когда вышли к кладбищу, оказалось, что народу, «наших» не так уж много. За гробом — стайкой — родные и близкие, а потом — россыпь толпы, смесь незнакомых лиц; может быть, чужих, может... ненужных.

В. А. Серов написал свою жену у стены дома. Это — маленькая, сухенькая женщина. Горе еще более, как-то сразу уменьшило, высушило ее. Тут же, на комьях мерзлой глины, сироты. Могильная рытвина — на пустыре, обнесенном тупой оградой. Огород — где вместо кочанов капусты — черепа людей. В углу обширного еще не «засаженного» огорода башня. Начались речи. Мертвые, даже гении, никому не нужны. Их как гнусную падаль, как самое ненужное, некрасивое бросают в глину, в комья мерзлой земли, под мутной слюдой зимнего неба. Над раскрытой могилой Серова речь говорил Маяковский.

Бурлюк молчал; ему было неудобно выступить, потому что его фраза, которой он определял место покойного в искусстве, у всех еще была в голове. Фраза была брошена с эстрады в жару полемического задора:

— «Серов — это хороший кучер на лихой тройке коней русского искусства...»

Глава III-я «РОМАНОВКА»

Лето 1912 года я провел в «Черной долине», имении Александра Мордвинова, где мой отец был управляющим. Годам жизни, проведенной там, уже несколько рассказов и очерков посвятил, но она просится на громадный холст. Писал в двух направлениях: для себя (осуществление замыслов странных, приходящих подчас внезапно) и для «потребителя» — реальные этюды. Весной в Германию мои родители ездили пить воды в Киссинген, а я ходил по Италии. Летом этим у нас в Чернянке гостил Хлебников; он на данные мной 20 рублей напечатал в Херсоне маленькую брошюру: «Отгиск досок судьбы». Эта книжечка оканчивалась 1917 годом — «роковым», гибелью империи. Вл. Маяковский и я перепечатали в «Пощечине Общественному вкусу» эту страницу. Она явилась пророческой, и всей книге придала тогда для нас, видевших вперед, особый отзвук большой важности. Характерно, что, может быть, именно с руки Вел. Хлебникова — «предсказателя» — в своем «13-м Апостоле» Вл. Маяковский писал позже: «Вижу идущего через горы времени, которого не видит никто...».

Хлебникова занимало время. Он хотел овладеть пульсом времени; научиться предугадывать, рассматривать грядущие события. Предсказать будущее одинаково трудно — великое или малое, громадное по удаленности за горы времени или же удачно прыгнуть через холмик нагроможденных минут. Мы, кузнечики, затерянные в пространствах жизни (время и пространство). Когда прекращается жизнь, остается только одно — время. Вечность — бесконечное обилие времени. Смерть — переход в небытие, к вечности, т. е. быть без парусов и кормила жизни в океане времени.

Владимир Маяковский и Велимир Хлебников принадлежат теперь только Времени. Мы, знавшие их существовавшими в четырех измерениях, ныне поставлены стражей следить падение глыб камней, пылинок и целых скал в песочном хронометре. Пока не истечет, условно, столетие со дня бледной, болезненной кончины Велимира Хлебникова, или столетие со дня пурпурной смерти Владимира Владимировича Маяковского.

Но не будем заглядывать за темные завесы грядущего.

Это грядущее — в нас.

Внимательно всмотревшись, вдумавшись в суть наших дней, в себя — мы окидываем и долины, лежащие за горами времени. Летом 1912 года я писал много стихотворений. Чтение французов, школы Теофиля Готье и Верлена более захватило меня под влиянием уроков языка галлов, о которых упоминала ранее Мария Никифоровна. В любовных интригах, в коих находила лазейку бунтующая юная похоть, прошло лето. Дни были посвящены бешеному письму красками, а вечера любви. Любовь — утеха юности. В незрелые годы она носит привкус порока. Порочные юноши. Но я был зрелым мужчиной, готовым к женитьбе.

Но предоставим Марии Никифоровне продолжать нить этих воспоминаний; представим себе, что мы сидим за круглым чайным столом в угловой столовой помещикального деревенского дома, как описывается он в романах Тургенева или Толстого. Ныне описываемое имение помещика стало колхозом. После трудового дня в плодовом саду, Марии Никифоровне принадлежит слово. Она описывает осень в степях, где провела свои вакации... Как жаль, что в пропавших архивах нашей семьи (станция Кунцево, Александр. жел. дороги) исчезли ее письма, начертанные ее девической ручкой тех далеких лет. Послушаем Марусю: Уфимские степи от выгоревшей на солнце травы выглядят полинявшими; кустики дикой степной вишни, не достигающей высоты более двух четвертей, облетели, и бусинки плодов иссохшими узелками лиловеют на откосах пригорков Соракамыша. Так называются луга около полустанка Алкино, Сам. Златоуст. жел. дорог. (пятое сентября 1912 года). Поезд прямого следования на Москву лишь на одну минуту останавливается на этом полустанке; в широких окнах вагона международного экспресса мелькнули черные переплеты моста над узенькой степной речушкой, впадающей в Дему, и цветные лоскуты осени на отрогах Урала, где так сини тихие, налитые водой до краев озера, строгие девственно глаза хрустальные родимых гор моих.

Я в Москве.

Бурлюк энергично вновь принялся за классное искусство, под дирижерством профессоров, запертых в стойлах Эстетики прошлого, копошащихся в музейной пыли, что густо насела и на очки всех чинушей от искусства, мечтающих о копировании былого, но отнюдь не о создании нового.

Поселились мы в «Романовке».

Она описана была уже неоднократно (см. «Фрагменты Мемуаров»)*.

Это дореформенное объединение учащейся музыкальной молодежи Москвы должно быть нами описано подробно. Ведь именно в ней был составлен исторический манифест «Пощечины».

Ход в «Романовку» с Малой Бронной. Комнаты наши — на четвертом этаже. Маруся живет в 104 номере. Я поселился в том же коридоре. Все собрания молодых поэтов и художников происходили в номере Маруси, так как эта комната была более обширной и нарядной. Здесь обильно сервировались «чай», варенья и бландово-чичкинские сыры и колбасы. Владимир Владимирович Маяковский приходил каждый вечер после Училища Живописи, Ваяния и Зодчества. «Романовка» — глаголем протянувшийся старый корпус, грязно-зеленого цвета. Внутри здания в широких коридорах с девяти часов утра до 11 ночи звучала музыка: воздух сотрясали всеми инструментами и средствами. Музыцировали то в медленном ученическом еще, то в блестящем законченного мастера эстрады темпах. Тут же в темных, старомодных далях переходов коридорных выли, пели разными голосами певцы и певицы. Здесь жила вся московская консерватория. Музыканты — народ шумный в других местах стоять не пускали, вот они и селились в терпеливой, выносливой «Романовке». В «Романовке» разрешалось заниматься до 11 часов ночи. Жила здесь главным образом беднота артистическая, учащаяся. «Романовка» была набита учащимися по музыке и пению.

Бурлюк, как украинец, любил пение, и я начала учить его по методу профессора Александрова-Кочетова, который давал мне тогда частные уроки. Мы проходили школу Абта, а потом конконы: Бурлюка более увлекали многочисленные романсы: Потоловского, Глиера, Кочетова, Чайковского.

Увидя успехи Давида Давидовича, Владимир Владимирович Маяковский скоро и сам басом изъявил желание пройти со мной несколько романсов, но у моего нового ученика абсолютно не было музыкального слуха, а одолеть ритмическую работу упорным трудом у В. В. не было охоты. Все же оказалось, что он знает несколько тактов арии «Варяжского гостя» из оперы «Садко», начинающейся словами: «О скалы грозные дробятся с ревом волны...» Теперь каждый вечер я с Владимиром Владимировичем Маяковским разучивала эту арию, и в конце концов

* Надо заправилам «Академии» эту книгу напечатать.

добилась того, что он был в состоянии ее исполнить не диссонировав, не расходясь с аккомпанементом.

Маяковский пел с увлечением, не утомляясь мелодией, а слово «море» звучало у него всегда вдохновением, улыбкой торжества, мощью более чем зычного голоса. У Маяковского было что-то вроде басса-профундо, и в арии этой он выдерживать умел все паузы, показывая бархатную мощь, красоту и силу звука, рожденного молодым богатырством. Этому исполнению арии Римского-Корсакова Владимиром Владимировичем Маяковским нельзя не придавать серьезного значения. Вл. Вл. Маяковский не был подобен какому-либо профессору, заваленному, как музей, как библиотека, мертвым грузом прошлого знания. Владимир Владимирович Маяковский очень мало, особенно в юности, знал. Не закончив даже средней школы, как только пришла ему необходимость в защите себя, своего творчества, своей группы, своего нового духа времени столкнуться с адептами старой противной культуры — Маяковский почувствовал недостачу знания. Память поэта была феноменальна. Игра на биллиарде, в карты, вино и женщины не давали ему возможности сесть за книгу «сиднем» и 33 года просидеть. Подобно Есенину, после хмельных лет он не уговаривал себя тихо сесть за Маркса...

Маяковский с жадностью, как сухая земля во время ливня, временами периодами набрасывался на книгу. Читал запоем. Это с ним бывало, когда он иногда прихварывал. Будучи мнительным, он любил полежать в постели, а подчас и серьезно болезнь его схватывала. Любил разговаривать, расспрашивать. Позже, много позже, у него стали появляться и записные книжечки: туда Владимир Владимирович заносил карандашиком или же «фаунтен-пенном» (1925 году — Америка) рождавшееся в нем. Любил задавать вопросы «ученым» людям. Как-то с восторгом рассказывал Бурлюку, что встретил на картах у каких-то милых врачей Давыдовых (кн. Горчаковых дом у Страстного монастыря) астронома, и тот ему много сообщил, рассказал, поведал о звездных просторах. Это было, вероятно, в 1912—13 годах. (В зиму процесса Бейлиса; Бурлюк.)

Надо отметить, что в пьесе «Человек» астрономии Владимир Владимирович уделил место, внимание. Все это вспоминается с целью показать, как собирал Вл. Вл. Маяковский все по крупицам. Ему, как доброму хозяину, все шло на пользу, ничего даром для него не пропадало. Иной массу знает, а толку нет. Знание у него чужое. Как полка он, что книги на ней стоят, а контакта с их содержанием нет.

Владимир Маяковский как будто знал мало, а начини читать его даже самые ранние стихи — они изумляют свежестью первобытной показанных вновь открытых, (удивительно) узренных вещей. Так и пение им арии из «Садко». В «Воине и мире» — появились у него ноты и речитативы. В декламации поэта с эстрады голос играл для него большую роль. Возьмите пьесу его «Человек», как он любит там, в отделе «Рождество», — своим голосом. А чего стоят «штаны из бархата голоса», «Голос» охоты поэта сокол... и т. д.

Пение в «Романовке» под пианино с Марией Никифоровной не прошло бесследно. Мария Никифоровна помогла Владимиру Маяковскому, кроме ввода его в оперное искусство, в преддверье его тайн, также «поставить голос», что пригодилось потом великому трибуну для его пламенных (фабрично-уверенных) речей; не речи, а производство. Но об этом я разольюсь широко, многословно позже, во время описания интереснейшего турне В. В. Маяковского, В. В. Каменского, и Д. Д. Бурлюка. («Турнидо из диких плюмов» 1913—14 гг.)

Хлебников зиму 1912 года, перебравшись из Петербурга, проживал в Москве и ежевечерне навещал нас в «Романовке»; обычно занимал место в кресле, около пианино; музыка ему не мешала; ясновидец творил, шевеля губами, нашептывал свои стихи.

В «Фрагментах воспоминаний футуриста» описана подробно внешность Вити. У него был такой необычайный вид; он был столь застенчив, умудренно углублен, так терялся, что нельзя было даже представить, вообразить его себе целующим, обнимающим женщин. Но в памяти сохранились нежные поцелуи, выпавшие Хлебникову, свидетелем которых пришлось быть. 1912 году в солнечный день, помнится был октябрь, птицами летели редкие коричневые от пыли листья. Солнечный, идеалист облачный великий поэт постоянный и в жизни, и в теории — Вася Каменский, у которого дрожала рука после падения с аэропланом в Ченстохове. Рука у Васи Каменского дрожит, когда берет он чашку с чаем в «Толстовской столовой», что была в Газетном переулке... Потом комната самого Вити, в районе Бутырской тюрьмы; комнатка, как все, в коих жил Хлебников, — более чем «семинарская» — она в одно окно, солнца нет; кровать, присевшая черепахой на своих железных ножках к полу. Под кроватью — наволочка, хранившая произведения, рукописи, манускрипты поэта. Когда в них появлялась нужда, Витя, держа поэзо-наволочку между ногами, свесив волосы на глаза, копался в ней. Стул и стол... Шкаф для платья раскрытый...

И на этом фоне Вася Каменский, нежно целующий Хлебникова трижды в губы. Руки Витины большие, с тонкими пальцами, с ногтями, пожелтевшими от табака, но с кожей мягкой, как бы смазанной вазелином; зубы у Хлебникова были в большом беспорядке, но ни он, ни Маяковский никогда не жаловались на зубную боль.

Моя сестра Лидуша Еленевская и Надя Бурлюк ценили общество Вити и брали Хлебникова с собой, шляпку ли купить, билеты ли в театр достать. Девушки всегда обращались к нему за советом; преодолевая его первое сопротивление, хватали под руки; а затем уже улыбающийся Хлебников спешил за ними. В осень 1912 года Наталия Гончарова хворала нервами, и девушки попеременно дежурили вместе с Хлебниковым у постели больной. Наталия Сергеевна Гончарова славная художница уже и в те времена, кроме слабых нервов еще к тому же и кашляла сильно... В «Романовке», в ее полутемных номерах, декорированных купеческим красным, засаленным дочерна — штофом состоялись и многочисленные первые выступления Володи Маяковского в роли декламатора, свидетелями и слушателями коих пришлось быть его первым, ближайшим друзьям. Эти выступления были репетицией к первым публичным шумно-оvationным успехам будущего великого поэта. Уже указывалось, что Маяковский первые свои стихи: «Ночь», «Вывескам», «Уличное» и «Одно из первых», «А вы могли бы»... Два стихотворения — «Кое-что про Петербург» (составленное во время поездки Маяковского и Бурлюка 1911—12 г. в Питер) читал на вечеринках учащихся в Училище Ж. В. и Зод., но на этих вечеринках мне быть не пришлось, как указывал я, мне довелось лишь слышать от группы восторженной молодежи, что Володя «неопровержимо великий поэт наших дней». Сила воздействия Вл. Маяковского на слушателей была всегда несравнимо ярка.

В. Маяковский приходил, опрокидывал и побеждал. Люди или покорялись ему, делались его обожателями, или же яркими ненавистниками. Второе гораздо реже. Крахмально, кисейно-батистовых в Маяковском отталкивала его необычайная, для тех чопорно-дворянских дней, резкость.

В «Романовке», в номере 104 Маяковский обычно сидел на диване, поближе к круглому столу, где высился, командуя над горами всевозможных закусок и варений, традиционный, пахнущий угольком, самовар. На столе — керосиновая лампа с резервуаром из желтого массивного стекла. Зеленый абажур бросал юбкой густые тени на стены, трепетом пламени фитиля освещены лишь потолок и светло-оранжевый пол. В теплом воз-

духе уютного номера молодых женщин протягивались нити одеколону. Номер разделен ширмами, оставляющими в тени девический будуар. Самовар пускал струи пара и шумел. Швейцар Капитон, получавший от Бурлюка хорошие «чай», в своей синей поддевке, в картузе и лакированных «бутылками» сапогах подавал в 104 номер самый большой, отборный самовар. Капитон, перед тем как войти в номер, снимал, однако, свой картуз и клал его прямо на пол коридора перед дверями номера, а затем уже вносил и произведение медной отечественной фабрики. Два окна выходили на Малую Бронную (на юго-западную часть Москвы), к Никитскому бульвару. В этих синих, как бы аквариумах, плыли, вились крохотными белыми рыбешками пушинки снега, виляя и прыгая. Когда Маяковский вставал с неизменной светящейся папиросой в руке своей, лицо юноши было освещено снизу. Оно было оранжево-зеленым, глаза — темно-фиолетовыми. Волосы черно-синими. Он уходил к потолку; Маяковский не имел записных книжек, читал по памяти; когда его просили читать, он поднимался с дивана, сиживал на красном штофном диване. («Романовка» мебелью была красная — купеческая.) Юноша отходил на середину комнаты и становился с таким расчетом, чтобы видеть себя в хмуром, неясном, узком зеркале. Маяковский выпрямлялся; лицо его оставалось спокойным; опускал руку с горящей папиросой вдоль своего высокого тела, другую левую он закладывал в карман бархатной блузы. Не откидывая головы назад, пристально смотря глазами в другие, зеркальные, поэт начинал читать свои юные стихи, декламировать, скандировать без поправок или остановок, без сомнений скромности и ни на малейшую долю не поддаваясь нахлынувшему чувству вдохновения и не изменяясь в лице своем.

Из уст поэта свободно скатывались рифмы, в которых звучали ругательства площадей, готовящихся к восстанию против царизма, и кошмарные словесные отражения ночного разгула Москвы трактирной, чайно-закусочной. Стихи Маяковского были и короткими, и длинными, рассказывавшими пространные легенды, были строки о каких-то трагических, полустертых вообразийных жителях городов и, может быть, действительно о тех ночных фигурах в порошак снегу, в осеннем засекающем, как порка крепостная, ливне, мелькнувших перед ним на улицах и раздраженных поэтовым пристальным взглядом апаша, что был брошен из-под надвинутой до бровей, потевшей форму, шляпы.

С уст поэта свободно скатывались одаренности безмерной, без берегов возможностям. Бурлюк хлопал дружески Маяковского

после чтения по молодой, костлявой от недоедания, опять сутулившейся спине. Вася Каменский с ноября 1912 года надолго покинул Москву для своей только что купленной им Каменки около Перми. Как говорил Бурлюк: «уехал туда строить баню»... Вся артель молодых гениев до слез жалела, что Вася, вносящий бодрость и солнечность, покидает город и налаживающуюся какую-то новую работу, полную революционного сокрушительного размаха. Вася был необходим. Володя Маяковский и во вторую осень нашего знакомства был опять плохо одет. А между тем начались холода.

Увидев Маяковского без пальто, Бурлюк в конце сентября 1912 года, в той же «Романовке», в темноте осенней, перешагнувшей за полночь, на Маяковского, собиравшегося уже шагать домой (на свою Большую Пресню 24, 36, см. «Я и Наполеон»), надел зимнее ватное пальто своего отца.

— Гляди, впору... — Оправляя по бокам, обошел кругом Маяковского Бурлюк и застегнул заботливо и крючок у ворота, и все пуговицы... — Ты прости за мохнатые петли, но зато тепло и в грудь не будет дуть...

Бурлюки — большая семья не обладали достатком. Сердечный Давид Федорович деньги зарабатывал службой и уезжавшим сыновьям давал частенько для сокращения расходов свою добротную, слегка поношенную одежду. Среди бедно одетой учащейся молодежи эти экземпляры гардероба отцовского прекрасно выглядели.

Маяковский улыбался... Он искренне любил Бурлюка...

Дружба укреплялась, росла, чтобы связать ваятелей будущего на многие годы, на всю жизнь, на все времена, пока будут существовать русские искусства и память о красном октябре и его футуристическом искусстве; первой любви красной большевистской свободы. В эти месяцы конца 1912 года Бурлюк, получая деньги от отца, зарабатывал иногда и сам: то лекциями, то продажей картин. Временами порядочно. Проживалось артелью все, что зарабатывалось. После вечеров литературного бдения, на пороге Романовских номеров, почти ежевечерне, Бурлюк побратски делился своими деньгами с ухажившими В. Хлебниковым и Вл. Маяковским. Обычно он давал им по рублю; каждому круглую монету. Витя небрежно бросал кружок в карман пальто, потрясывая головой, синяя своими шотландскими глазами в темноте из облака нависающего табачного дыма. Парнас московский был затянут синим дымом «Лаферм», «Зефир» и других папирос. В «Я сам» в главке «Прекрасный Бурлюк» В. В. Маяковский пишет: «Выдавал ежедневно по 50 коп., чтоб писать

не голодая». Надо отметить величие души Владимира Маяковского в этом упоминании. Другой умолчал бы об этом. Гордость не позволила бы сказать. Владимир Владимирович был бесовски гордым человеком и, когда он в 1922 году написал эти добрые ко мне строки, а в 1929 году их оставил, он хотел показать, как один бедняк преданно, бескорыстно любил другого. Он показал, что наша дружба стала братством неразрывным. А затем, как стал всемирно известным, он не забыл этих безвозвратно ушедших вечеров, протекавших в «Романовке» (с сент. месяца по декабрь), когда вырабатывались, назревали, сами собой накатывались лавиной горной тезисы, положения манифеста, помещенного в «Пощечине Общественному Вкусу». Описание сентября, октября, ноября и декабря в «Романовке» должно быть особенно полным.

